

НАША СТРАНА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ОСНОВАНА И. Л. СОЛОНЕВИЧЕМ

“NUESTRO PAIS”

SEMANARIO MONARQUICO RUSO

Registro Nacional de Propiedad Intelectual N° 949917

Correo
Argentino
Suc. 30 (B)

FRANQUEO PAGADO

Concesión N° 4233
Concesión N° 8980

INTERES GENERAL

Editor - Director
TATIANA K. DE DUBROWSKY
Monroe 4219, Dpto. 10
1430 Buenos Aires Argentina

AÑO XXIX

Buenos Aires, martes 9 de Agosto de 1977

Буэнос Айрес, вторник 9 августа 1977 г.

N° 1432

Е. ВАГИН

МОНАРХИЗМ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ещё в начале прошлого века существо русского миропереживания было великолепно схвачено ёмкой и лаконичной формулой гр. Уварова: **Православие, самодержавие, народность.**

Зеркало русской жизни — классическая литература прошлого, вопреки ходячему мнению, рождённому и распространяемому либерально-демократическими кругами, в своих высших достижениях как бы облекает в плоть и кровь эти основополагающие принципы. Без понимания этой аксисмы — невозможно ничего понять ни в истории России, ни в её культуре.

Русская классическая литература существенно **религиозна** (изначально, от первых летописей); она **народна** — то есть выражает глубинные внутренние потребности нашего православного народа; и, наконец, она в произведениях лучших своих гениев с потрясающей убедительностью раскрывает монархические чувства, **монархическую идею.**

Это свойственно всему русскому искусству, достаточно вспомнить первую нашу национальную оперу — “Жизнь за Царя” М. И. Глинки, с её возвышенной идеей жертвенного подвига во спасение священной особы Государя. В советское время, по указке сверху, оперу “переименовали” — теперь она называется (по имени спасителя царя Михаила, простого крестьянина) “Иван Сусанин”, и в кульминационном моменте хор поёт теперь на советских сценах не “Славься, славься, наш русский Царь...”, как было написано либретистом, поэтом-монархистом Н. Кукольниковом, а “славься наш русский народ”. Но народ без Царя и религии — ничто, тень минувшего...

Можно было бы привести немало примеров из русской живописи — хотя “монархические” полотна в массе своей или уничтожены, или скрываются в запасниках государственных музеев, как “малохудожественные”. Знаменитое скульптурное изваяние Императора Александра III верхом на коне, работы кн. П. Трубецкого, “сослано” на задний двор Русского музея в Ленинграде.

Но, повторяю, с особенной силой и выразительностью монархические чувства и настроения от-

разились всё же в русской литературе и поэзии.

Об этом хорошо и сильно сказал ещё Н. В. Гоголь в своей замечательной книге “Выбранные места из переписки с друзьями” (1846 г.), до сих пор замалчиваемой советскими литературоведами. Гоголь усиленное значение придавал реформам Петра Великого, которые будто побудили заговорить молчавшую до того Россию, и возбудили в её поэтах **восторг**, “восхищение от света, внесённого в Россию, изумление от великого поприща, ей предстоящего, и **благодарность царям, того виновникам**”.

Можно поспорить с Гоголем, с этого ли времени начался в русской литературе ренессанс монархической идеи (обнаружение её в произведениях древнерусской словесности могло бы стать предметом специального исследования), но, действительно, громкое звучание эта идея приобрела с начала XVIII века.

Ломоносов — первооткрыватель не только в науке, но и в русской поэзии, в своих звучных одах славит величие России и её строителей — Самодержцев. Державин, творивший в славную эпоху Екатерины Великой, и нелицемерно воспевавший эту просвещённую и мудрую правительницу под именем вымышленной Фелицы. Карамзин, отдавший в молодости дань модным уже тогда либеральным веяниям, в зрелом возрасте воздвигший величественный памятник великим князьям и царям — создателям российской империи в своей “Истории Государства Российского”. Жуковский, воспитатель цесаревича, будущего Александра II Освободителя, даровавшего свободу сотням тысяч крепостных, написал текст гимна “Боже, Царя храни” и множество стихов **верноподданнических** в лучшем, честнейшем и чистейшем смысле слова.

И, наконец, Пушкин. Солнце нашей поэзии, на котором вот уже несколько поколений демократических ублюдков тщатся найти тёмные пятна. Сам — воплощение чести (“невольник чести”, по определению Лермонтова), государственный ум, понимавший и умевший выразить художественными средствами необходимость и единственную спаси-

тельность для России — самодержавия! Его взаимоотношения с Императором Николаем I — идеальная “модель” отношений между христианским Государем и художественным гением. Пушкин выразил истинно русский взгляд на должное отношение подданных к своему Государю:

Нет, я не льстец, когда Царю

Хвалу свободную слагаю...

Свободная хвала, не рабская лесть Венценосцу отличала и другое великое светило на небосклоне нашей поэзии — Лермонтова. Он изображал победителя Наполеона Александра I — “русским витязем”, “в шапке золота литого”. Один из немногих Лермонтов сумел в “Песне про купца Калашникова” дать исторически правильный образ Ивана Грозного, в соответствии с духом русских исторических песен.

Следует вспомнить и ещё одного русского поэта, творившего в благословенное для русской культуры время Николая I — одного из столпов русского славянофильства А. С. Хомякова. В трагедии “Дмитрий Самозванец” и во многих стихах он выступил не только страстным патриотом и глубоко верующим христианином, но и верноподданным, истинным монархистом.

Серьёзное историософское обоснование идее монархизма дал замечательный русский поэт Ф. Тютчев — в ряде статей для французской печати (тема, заслуживающая отдельной статьи). Тютчев построил “целое обоснованное теократическое учение, которое по грандиозности напоминает теократическое учение Вл. Соловьёва” (Н. Бердяев).

Когда мы называем самые великие имена русской литературы XIX века — Достоевского и Л. Толстого, при внимательном их чтении мы не можем не заметить, какую исключительную роль для того и другого играла монархическая идея.

Достоевский, после недолгого заблуждения юности (дорого, впрочем, ему стоившего!) свободно и охотно “отдался” этой идее, и не мог себе представить Россию без Царя. В романах Достоевского, особенно же в “Дневнике Писателя” (который именно поэтому недоступен широкой публике в СССР) мы постоянно

встречаемся с прямой апологией русского самодержавия, как единственной **органичной** формой государственного устройства для России.

Много сложнее было отношение к Царю и монархии у Л. Толстого. Он противился этой идее в своей публицистике, и в непонятном религиозном ослеплении (в последние годы) допустил бестактные, оскорбительные нападки на священную особу Императора. Но и он, дерзкий вольнодумец и гениальный художник, не мог устоять перед **эстетическим очарованием монархической идеи**. Перечитайте страницы “Войны и мира”, где молодой Николай Ростов впервые видит Царя! Безусловно, это чувства самого писателя, как и чувства любого русского человека, неиспорченного софизмами “прогрессистов” и эгалитаристов.

Ближе к началу нашего века картина начинает зловеще меняться. Быть монархистом становится не только “немодным”, но и чуть ли не опасным — особенно в литературе, которую обуяли беды революционаризма, мятежной одержимости.

Но вот что интересно и показательно. Начавшие свой литературный путь в такой атмосфере “обличителями” “царского режима”, такие русские писатели, как И. Бунин и И. Шмелёв (не говоря о менее значительных) после кровавого большевицкого переворота стали убежденными русскими патриотами и монархистами!

Но обратимся к нашим дням: почему нынешняя русская молодёжь с такой духовной жадностью набрасывается на классику? Что она ищет в книгах “старых” писателей? Не просто идеи, не исключительно религиозное настроение. Русская молодёжь ищет подтверждения и обоснование своей инстинктивной тяге к идеалам **чести, рыцарского служения, высокой жертвенности**. “Синтетическая”, объединяющая идея монархизма именно поэтому влечёт к себе с неудержимой силой юные сердца. Оживление монархических настроений в сегодняшней России — факт, с которым нельзя не считаться, и важнейшим источником этих настроений является русская классическая литература.

Е. ВАГИН

ВЛАДИМИР ОСИПОВ

К ВОПРОСУ О СФИНКСЕ

(ПО ПОВОДУ РАБОТЫ Л. РЕНДЕЛЯ "О СПЕЦИФИКЕ ИСТОРИИ РОССИИ")

О, старый мир! Пока ты не погнб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!
Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью! ..
А. Блок, «Скифы».

Блаженный Августин писал: «Государство, чуждое Церкви, ничем не отличается от разбойничьей шайки». Преклоняясь перед великим мыслителем, не могу согласиться, однако, с этим взглядом. Какие бы политические гангстеры ни стояли у руля государства, они принципиально отличны от обычных бандитов. Шайка жуликов — это шайка и ничего более. Государство — это овеществленная идея. Государство может быть хуже или лучше, но лишь в возможностях данной идеи. Критиковать государство вообще — все равно, что критиковать род человеческий. Люди не смогли придумать ничего умнее государства. Это земная неизбежность, плоть идеологии. Идея сама по себе привлекательнее, потому что она бестелесна. Материя всегда с рубцами. В государстве, как материализовавшейся идее, заключен элемент мистического. Власть от Бога. Борьба с властью во имя анархии, т. е. за уничтожение всякой власти — именно в этом грех перед Богом. Ибо в любой власти есть хотя бы элемент порядка, хотя бы зачаток закона. А закон и порядок — Божественного происхождения. Власть, творческая производ и беззаконие, такого освящения не имеет, т. к. воплощает сатанинский принцип хаоса.

Итак, государство — это идея. Точнее, орудие идеи. Исторические государства — Афины, Спарта, Рим, Франция, Германия, Россия, США — каждое явилось олицетворением определенной идеи. Борьба государств и народов — это чаще всего борьба идей. В ненависти западных русофобов к России сквозит не антипатия к нашим изъянам (они — в любом государстве), а категорическое неприятие русской национальной идеи. К пониманию органической взаимосвязи идеи или, по крайней мере, души народа с типом государства сумел близко подойти убежденный и последовательный марксист Л. А. Рендель. В работе «О специфике истории России» (Самиздат. 1970 год) он пишет:

«Именно в свете логики истмата историю народа нельзя отделить намертво от истории государства, поскольку последнее есть надстройка над производственным базисом (а непосредственные производители — народ), есть ее концентрированное выражение экономического, политического и культурного состояния нации. Поэтому идеализация в позитивном смысле истории русского народа неизбежно превращается в таковую же идеализацию царизма, несмотря на все оговорки о реакционности самодержавия. Наоборот, изображая русское государство как известное воплощение сплошного мракобесия, мы неизбежно превращаем историю всего народа в бессмыслицу вроде «Истории города Глухова», несмотря на дифирамбы в адрес народа, противопоставленного самодержавию».

«Национальный характер, по Ренделю, потому и национален, что асоциален, т. е. его черты обнаруживаются у всех, кто принадлежит к нации, вне зависимости от социального положения. У историков-буквоедов «смешиваются воедино отсталость России и специфика, особенность ее истории».

«Очень бедное и очень редкое население было расплывлено на большом пространстве, однако абсолютные размеры этого населения, этого пространства со всей совокупностью его природных ресурсов были грандиозны. Но чтобы эту потенциальную грандиозность реализовать в соответствии с быстрыми темпами прогресса Европы, необходимо было искусственно форсировать развитие, мобилизуя все духовные и материальные резервы посредством жесточайшей ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. Подобную задачу могла выполнить лишь сила, стоящая над рыхлым, аморфным, безвольным обществом,

цементирующая его самым беспощадным образом».

«Русское государство всегда было многонациональным, но не колониальной империей». «Отношение русских и нерусских никогда не принимало столь патологические формы, как отношение «белых» и «цветных».

Вот что пишет Рендель о специфике нашего государства:

«В России дворянство полностью передает свою волю и свои интересы бюрократическому аппарату самодержавия, более того, само дворянство было детищем самодержавия, т. е. создано им. На Западе феодальное государство всегда было чуждо третьему сословию. Только буржуазное государство стало национальным. В России, напротив, ввиду несамостоятельности всех классов, включая дворянство, именно феодальное государство оставалось воплощением общенациональных устремлений, даже в XIX веке. Но по мере проникновения элементов капитализма или просто укрепления связей с Западом, все тело общества, которые просыпались для самостоятельной деятельности, немедленно оказывались в конфликте с государством».

... становление феодализма на Руси произошло не до, а после образования империи Рюриковичей, которую почему-то считают аналогичной империи Карла Великого. Не с Каролингами, а разве с Меровингами могут быть сравнены первые Рюриковичи, да и то с большой натяжкой.

Варяги создали первое русское государство и русский феодализм. Активные, воинственные, организованные в крепкую разбойничью шайку, но малочисленные, одинаково чуждые любому славянскому племени и его частным интересам, варяги прекрасно подходили на роль ядра, вокруг которого сгруппировались славянские племена. Но экспантацию в полном смысле слова принесли извне и насадили сверху варяги.

В виде военной контрибуции, последовательно развивавшейся в феодальные повинности. Причины распада империи Рюриковичей нельзя сводить к натуральному хозяйству. Империя возникла в результате определенной международной ситуации и должна была исчезнуть вместе с ней. Хиреют Византия, Халифат, исчезает Хазарский каганат, прекращается варяжская инфильтрация... Днепровский путь замирает».

Отрадно слышать от историка-марксиста справедливое мнение об отсутствии у нас войны классов:

«Крестьянские войны и городские восстания потрясают Запад в XIV-XVI в.в. — на Руси они появляются только в XVII веке и на совершенно иной основе, а до тех пор историки тщетно ищут сколько-нибудь серьезные проявления классовой борьбы».

Эту особенность России всегда отмечали славянофилы. Далее:

«Не экономическое единство, не борьба классов, а борьба за национальное освобождение привели к образованию русского национального государства». «Простота быта самих феодалов, незначительность их потребностей, малочисленность тех, кто уже выделился четко в феодальную верхушку, обуславливало сравнительно низкую форму эксплуатации».

«Низкая форма эксплуатации» в России зависела не только от простоты быта, но и от глубокой религиозности тогдашних русских, что, конечно, влияло и на самый быт «эксплуататоров». Например, всякий — и эксплуататор в том числе! — обязан был поститься едва ли не треть года. В дальнейшем автор дает общую оценку допетровской монархии: «Казавшаяся на первый взгляд неограниченной, власть царя была тесно опутана и скована, помимо реальной мощи вотчинников, обычаями и традициями старины, которые заменяли собой поли-

тические и административные принципы и правовые нормы».

Характеристика Ивана Грозного близка к соловьевской:

«Иван Грозный вывел Русь из допотопного состояния, превратил кучку вотчин в могучую державу. При нем русские осознали себя великим народом. Беспрецедентная в сравнении с прошлым по размаху внешняя политика, направленная теперь не на методичное пристегивание лоскутков к московскому одеялу, а на решение узловых проблем (воссоединение всей домонгольской Руси, выход к морям, продвижение на Волгу, Урал и далее в Азию, создание нового господствующего класса — дворянства, закрепощение крестьян — вот три столба, на коих Грозный основал прочное здание самодержавия».

Оригинальная оценка дана Петру:

«Петр Великий — этот первый русский «западник» — окончательно и на столетие бесповоротно закрепил специфический патриархально-консервативный уклад жизни русского народа, явившийся источником национальных особенностей, от которых танцуют «славянофилы» самого разнообразного толка в самые различные периоды отечественной истории».

Крепостное право, противоречащее развитию товарного производства, свободной конкуренции, рынка, окончательно оформилось и утвердилось при Петре. При Петре полностью выявился и сформировался тот своеобразный метод прогресса, который в самом себе несет консервацию дикости, косности, отсталости. Сочетание просвещенного гуманизма, рационализма, законности (правда, в ее бюрократическом а ля Ришелье или Фридрих II понимании) с необузданным деспотизмом, диким тупым самодурством, изуверством, жестоким произволом — эти противоречия в характере Петра были противоречиями его системы, а после него превратились в неотъемлемую черту русской бюрократии».

Российская империя была географически и логически неизбежна.

«...при отсутствии организации «сверху» пространство между Волгой и Неманом, Ледовитым океаном и Черным морем превращалось в громадный политический вакуум, который неизбежно заполнялся бы посредством интервенции с Запада и Востока...»

Напомним, что Маркс оценил движение тайпинов в Китае как химеру, Рендель справедливо отмечает:

«Сущность болотниковщины, разинщины, пугачевщины была не менее «абсолютной химерой», чем сущность тайпинов». «Любителям спорить о реакции и прогрессе придется еще выяснить, что считать реакционным: дворянско-бюрократическую империю или «абсолютную химеру» массовых движений».

«Нелепо упрекать Грозного, Петра, Екатерину за то, что они не преодолели культурно-экономической отсталости сравнительно с Западом. Но они избавили Россию от участи колониального мира...»

Крепостное право являлось той основой, на которой русские, украинцы, белорусы, а равно и многие иные народы России консолидировались и сохранились как нация. Идея Третьего Рима, из которой логически вытекала идея самодержавия, неизбежно должна была связаться в национальном сознании великороссов с идеей высшего долга, в служении коему и состоит подлинный смысл существования русских людей, включая самого царя».

При Екатерине Великой Русское государство окончательно оформилось и созрело. Государственный организм достиг зрелости. И вместе с тем Екатериненская эпоха — это начало просвещенной власти, правового государства. Сбросив татаро-монгольское ярмо, русский народ еще два века продолжал избавлять от ежегодных молниеносных набегов азиатских хищников. Ни море, ни горы не заслоняли равнину Московии от бандитов Крыма, Казани и безымянной степи. У нас не было ни сил, ни времени думать о правах личности. Нас вынуждали думать о войне, дисциплине и долге.

Проклятое крепостное право стало военной необходимостью. Но даже на военной необходимости у нас был собор, сход, мир и сам царь имел Думу. Душливый Петр — творец империи был также творцом насилия: он уничтожил Патриаршество, упразднил Земские соборы и покончил с вечевым, соборным началом вообще. Нахлынули учителя с Запада. Из них Петр III был хуже Бирона. Последний рубил русские головы, тогда как обожатель Фридриха возмечтал разрубить русскую идею. Полгода правил этот коронованный русофоб, но за это время он в числе прочего успел провозгласить роковой манифест — о вольности дворянству. Россия, как военный лагерь, имела крепостных дворян и крепостных крестьян. Теперь возникает противоестественное состояние, породившее разлад в нации.

Екатерина, несмотря на искренний патриотизм, не осмелилась из-за своего немецкого происхождения на решительный шаг: отмену злосчастного манифеста или — провозглашение параллельного манифеста для крестьян. Тем не менее, именно с Екатерины начинается постепенный возврат к допетровским вечевым принципам, хотя и на европейской подкладке. И Рендель совершенно прав, говоря:

«Бабушкой русского либерализма стала Екатерина II, его отцом — Александр I».

«...Из крайне двойственного положения государственной власти, цинично эгоистического вольтеровского свободомыслия и личных особенностей Екатерины возник русский либерализм. Но с Екатерины либерализм становится оборотной стороной русского деспотизма, без которого последний уже не в силах существовать».

Одетые в марксистскую терминологию, суждения Ренделя о русском Сфинксе все же представляют несомненный интерес:

«Та удаль, размах, лихость, о которых столько писалось и говорилось, — это каратаевщина и обломовщина, перешедшие в свою противоположность, что не исключает, как показывает пример Мити Карамазова, мгновенных обратных переходов. И если кто-либо попытается на практике реализовать идеалы Достоевского, ему придется установить жесточайший террор для всех неверящих, что прогресс не стоит слезинки ребенка. Точно так же бакунинские идеи немедленной и абсолютной безгосударственности при попытке претворить их в жизнь привели бы к государственной диктатуре, по сравнению с которой империя Романовых могла показаться царством свобод».

«В Толстом и Достоевском соединились воедино все противоречия российской действительности, которые в расчлененном виде воплощались на одном полюсе в победоносцевых, катковских, суворовских, на другом — в бакунинских, герценовских, чернышевских, лавровых, ткачевых и т. д.

Ибо, как это было отмечено Плетхановым, и крайний монархический лагерь и крайне революционный пытались опереться на одни и те же особенности — на мужичкий феодальный социализм». «Русский революционный интеллигент очень плохо усваивал ту простейшую мысль, что деспотический гнет и социальная несправедливость, консервируя невежество, предрассудки, нищету, тем не менее в конечном итоге являются следствием, а не причиной определенного состояния народа».

«Конституционализм декабристов только фраза. Немедленная замена диктатуры Романовых диктатурой Пестеля, Рылеева или Трубецкого — вот единственное последствие восстания, которое можно представить». «Ставка на свержение крепостного права посредством гвардейского путча — на этом сходились умеренно-либеральные и революционно-радикальные декабристы — была не менее фанатична, чем народнический план продолжить путь в социализм серией террористических актов».

Совершенно справедливы замечания Ренделя о безответственности русских нигилистов:

«Отрицая немедленно и до основания старый мир, революционная интеллигенция, разумеется, отрицала и

